
Ведьма из Сызрани
Полудница
Тетради агронома

Милана Панова

Ведьма из Сызрани. Полудница

https://litres.ru/74771437
SelfPub; 2026

Аннотация

Июнь 2035 года, самое жаркое лето за сто лет. Василиса с семьёй впервые уезжает на море и оставляет дом, кота и домового на ученика. Никите восемнадцать, у него ЕГЭ, а Соня, которую он любит, через месяц уезжает в Казань.

Первого июня ровно в полдень по Советской проходит высокая женщина в белом, с серпом. Это полудница, хозяйка ржаного поля. Поля больше нет: на его месте теперь солнечная электростанция. Каждому встречному она задаёт один вопрос: «Где твоё поле?» Кто ответит не так, засыпает с улыбкой и не просыпается.

Спящих в больнице с каждым днём больше, полдень с каждым днём длиннее. Вопрос она задаёт и Никите. На размышление у него время до солнцеворота. Подсказки придётся искать в семидесяти тетрадях старого агронома, у домового, у бабки-свахи и у снежной девочки, которая сидит в тазу со льдом.

Жаркая и светлая история о выборе пути, об экзаменах, которые сдают не в школе, и о том, что поле — это то, что после тебя найдут.

Содержание

Глава 1. +29 5
Глава 2. +32 21
Глава 3. +33 37
Конец ознакомительного фрагмента. 49

Милана Панова
Ведьма из Сызрани. Полудница

Ведьма из Сызрани. Полудница

Серия «Ведьма из Сызрани». Книга двадцатая

Глава 1. +29

Василиса Андреевна уезжала на море так, будто уходила на фронт.

Никита стоял в сенях дома на Верхне-Кирпичной, тринадцать, с рюкзаком на одном плече и с ключами в руке — ключи ему вручили десять минут назад, связкой, на шнурке, и он до сих пор держал их, как держат что-то хрупкое, — и смотрел, как его наставница в шестой раз проверяет список.

Список был на трёх листах. Мелким почерком, с обеих сторон, со стрелками, сносками и звёздочками. Он висел на двери кладовки, приколотый кнопкой, и Василиса Андреевна стояла перед ним в льняном платье, в соломенной шляпе, с чемоданом у ног, и водила по нему пальцем, шевеля губами.

— Сметана, — сказала она. — Модесту. Двадцать процентов. Только «Сызранская», в синей обёртке. Он другую нюхает и уходит.

— Я знаю.

— Фролу Евсеичу — Первый канал не переключать. Даже если там футбол. Особенно если футбол.

— Знаю.

— Усте — кудель. В сундуке, в сенях, левый угол. Мешок кончится к середине июня, там рядом второй. Не путай с Агафьиной шерстью, та — для валенок.

— Василиса Андреевна, я это всё записал.

— Луи — баню через день. Сам он топит, но дрова ему надо поднести. Он не может, у него лапки.

— Записал.

— Валенок…

— Не трогать, — сказал Никита. — Никому не давать. Модест спит рядом. Если Модест уйдёт с печи больше чем на час — звонить вам. Если валенок сдвинется сам — звонить Римме Гареевне. Если яйцо треснет — звонить всем и бежать.

Василиса Андреевна обернулась.

Посмотрела на него. С тем выражением, которое Никита за два с половиной года ученичества научился читать: смесь гордости, тревоги и желания всё отменить.

— Ты записал, — сказала она.

— Записал. — Никита похлопал по рюкзаку. Там лежала тетрадь. Шестая. Новая. Зелёная. Начатая вчера вечером. На первой странице, крупно: «НА ХОЗЯЙСТВЕ. 1–22 июня 2035». И дальше — четыре страницы инструкций. Слово в слово. Со стрелками. — Всё.

Из кухни вышел Егор Алексеевич. В шортах. В футболке с надписью «Сызрань — город на Волге», которую ему подарили в отделе на прошлый день рождения как шутку и которую он носил всерьёз. С Алёшей на руках и с двумя черепахами в переноске. За ним — Гаша. В панамке. С лаптем.

Лапоть Гаша брала с собой. На море. Никто не спорил.

Это было бесполезно.

— Вась, — сказал Егор Алексеевич. — Поезд в десять сорок. Сейчас девять пятнадцать. Такси ждёт.

— Сейчас.

— Ты в шестой раз читаешь.

— В седьмой, — сказала Василиса Андреевна. — Шестой был ночью.

Егор Алексеевич поставил Алёшу на пол. Подошёл. Взял её за плечи. Развернул от списка к двери.

— Он справится, — сказал он. — Ему восемнадцать. Он Лихо уложил. Он больше тебя знает про анчуток. Он про змея первый прочитал. — Он посмотрел на Никиту поверх её головы. — Справишься?

— Справлюсь, — сказал Никита.

— Вот. Слышала? Мужчина сказал.

Василиса Андреевна посмотрела на мужа. На Никиту. На список.

Потом сняла его с двери. Сложила. Сунула Никите в нагрудный карман рубашки.

— Это — тоже возьми, — сказала она. — На всякий случай.

С печи на них смотрел Модест. Лёжа. Не поднимая головы.

— Василиса, — сказал кот. — Ты уезжаешь на три недели на Чёрное море. Не на войну. Не на Луну. Там тоже есть телефон.

— Модест.

— Я восемь лет мечтал, чтобы ты уехала, — сказал Модест. — Хоть на неделю. Я буду спать двадцать часов в сутки, и никто не будет трогать мой валенок. Мальчик будет приносить сметану и молчать. Это — счастье. Не порти мне его своим лицом.

Василиса Андреевна засмеялась.

Это было то, что нужно. Никита видел, как у неё расправились плечи. Она подошла к печи. Погладила кота. Модест позволил. Один раз.

Потом — к шестку. Там, на синем склеенном блюдечке, сидел Фрол Евсеич с чашкой чая. Делал вид, что смотрит в окно.

— Фрол Евсеич.

— Езжай уже, девка, — сказал домовой. Не оборачиваясь. — Езжай. Море посмотришь. Дети посмотрят. Я триста лет на свете — моря не видел. Ты мне — расскажешь. — Он отхлебнул чаю. — Ракушку привези. Розовую. Большую. Чтоб шумела.

— Привезу.

— И девку свою — Гашу — от воды держи. Она у тебя упрямая. Полезет за крабом — не вылезет.

— Удержу.

— Езжай.

Василиса Андреевна наклонилась. Поцеловала домового в макушку. В седую, лохматую. Фрол Евсеич зажмурился.

Не отстранился.

Из-за печки, тонко, высунулась Устя. Посмотрела. Спряталась.

— Устенька. Пока.

— Пока, — донеслось из-за печки. И веретено — тр-р-р.

Такси увезло их в девять двадцать. Калитка пропела четыре ноты. Гаша махала из заднего окна лаптем.

Никита стоял у калитки, пока машина не скрылась за углом Ульяновской.

Потом вернулся в дом.

В доме было тихо.

Не пусто — Никита знал, как пахнет пустой дом, он помнил прошлый май, — а тихо. Печь не топилась: июнь, жара, топили только по утрам, для чая и для Фрола Евсеича. Ходики тикали. Модест уже спал — на спине, лапами кверху, — и Никита мог бы поклясться, что кот улыбается. Фрол Евсеич смотрел Первый канал — новости, прогноз погоды. Женщина в синем костюме на фоне карты Поволжья говорила, что на регион идёт антициклон, что в ближайшие две недели температура будет расти, что ожидаются аномальные значения.

— Аномальные, — сказал Фрол Евсеич телевизору. — Слова-то какие. У нас в семьдесят втором аномальные были. Торфяники горели. Волга — зелёная. Куры от жары неслись варёными яйцами. Агафья говорила — по рублю продавать можно, готовые.

Никита сел за стол. Достал зелёную тетрадь. Открыл.

На первой странице — «НА ХОЗЯЙСТВЕ». На второй — сметана, Первый канал, кудель, баня, валенок. На пятой — пусто.

Он подумал. Написал:

«1 июня. Пятница. +29 в 9:30 (термометр на крыльце). Уехали в 9:20. Модест спит. Фрол смотрит прогноз. Устя прядёт.

Клиенты: в Гроссбухе на сегодня — никого.

Экзамены: 5 июня — русский. 14 июня — математика. 21 июня — физика.

Соня: биология 7-го, химия 14-го. Потом — Казань».

На последней строчке он задержался.

Посмотрел на неё.

Зачеркнул «Потом — Казань». Написал снова. Опять зачеркнул.

Оставил, как было. Зачёркнутое.

Соня Белова уезжала в Казань двадцать девятого июня. Поступать на химфак. Она решила это ещё в девятом классе и с тех пор ни разу не передумала. У неё в комнате, рассказывала она, на стене висела распечатка — фотография главного здания Казанского университета, белого, с колоннами, — и она каждое утро смотрела на неё, прежде чем идти в школу. Как другие смотрят на икону.

Никита в ноябре думал, что это пройдёт. Что Соня — это крючок. Что Златин приворот, мамина свечка, и как крючок

выпадет, — так и пройдёт.

Крючок выпал на Покров. Никита сам видел — ну, не видел, Василиса Андреевна видела и рассказала, — как он упал. Как засохший репей.

Не прошло.

Они решали органику всю зиму. Каждую среду и пятницу. В библиотеке, у неё дома на кухне, у него дома на кухне. Потом — неорганику. Потом — физику, потому что Соне физика давалась хуже, чем химия, а Никите — наоборот. Потом — просто так. Не решали ничего. Сидели. Разговаривали. Один раз, в марте, гуляли по набережной до двух ночи, и Соня рассказывала про бензольное кольцо, а он — про Лихо. Она слушала про Лихо так, будто это был параграф из учебника. Задавала уточняющие вопросы. «А почему именно три раза постучать? Это какая-то закономерность? В фольклоре троичность — это структурный элемент или…»

Он тогда понял, что пропал. Насовсем.

И что она уедет двадцать девятого.

И что он ей ничего не скажет. Потому что — Казань. Потому что — фотография с колоннами. Потому что она решила в девятом классе. Потому что кто он такой, чтобы она передумывала.

Никита закрыл тетрадь.

— Тарасов, — сказал с печи Модест. Не открывая глаз. — Ты вздыхаешь. Громко. Ты мне мешаешь спать.

— Извини.

— Не извиняйся. Иди. Делай что-нибудь. — Кот перевернулся на бок. — Сметану купи.

Никита пошёл за сметаной.

«Продукты 24» были на Советской. Пятнадцать минут пешком. Он вышел в одиннадцать сорок. Жара уже стояла — плотная, сухая, неподвижная. Без ветра. Небо — белёсое, выцветшее, как старая простыня. Солнце — не жёлтое, а белое. Асфальт — мягкий: Никита чувствовал, как подошвы кроссовок чуть-чуть липнут.

Тридцать один, сказал градусник на аптеке на углу Ульяновской.

На улицах — почти никого. Бабка с тележкой у колонки. Мальчишка на велосипеде, в мокрой футболке. Кошка под машиной, распластанная по асфальту, как коврик.

На Советской, у старого универмага, рабочие клали асфальт. Трое. В оранжевых жилетах. Каток, грузовик, лопаты. Горячий асфальт дымился, пах смолой, и рабочие двигались медленно, как под водой.

Никита купил сметану. «Сызранскую». Двадцать процентов. В синей обёртке. Люда за прилавком, обмахиваясь журналом, спросила, как там Василиса — доехала? Никита сказал, что ещё нет, поезд только в десять сорок ушёл. Люда сказала, что на море, наверное, хорошо. Что она сама на море не была двадцать лет. Что у неё — вентилятор не справляется. Что вот, смотри, тридцать три уже, а ещё полдня.

Он вышел из магазина в двенадцать ноль одну.

И остановился.

На Советской было — тихо.

Не как бывает тихо в жару, когда все попрятались. Иначе. Как будто звук выключили. Каток у универмага — стоял. Грузовик — стоял. Мотор не работал. Мальчишка на велосипеде — стоял посреди дороги, опустив ногу на асфальт, и смотрел куда-то. Бабка у колонки — стояла с ведром, из которого текла вода, и не замечала, что течёт.

Все смотрели в одну сторону.

Никита посмотрел тоже.

По Советской — посреди проезжей части, от Кремлёвской к универмагу — шла женщина.

Высокая. Очень. Выше любого мужчины — головы на две. Худая, прямая, как жердь. В белом. Не в платье — в чём-то длинном, широком, холщовом, до самой земли, как рубаха. Подпоясанная красным. Волосы — светлые, почти белые, длинные, распущенные, до колен, и они не шевелились, хотя она шла. Ветра не было. Лица — Никита не видел: она шла против солнца, и солнце било ей в спину, и вместо лица было белое сияние, как от сварки.

В правой руке у неё был серп.

Старый. Железный. С деревянной ручкой. Лезвие — не блестело. Тускло-серое, щербатое, как у серпа, который сто лет висел в сарае.

Она шла медленно. Босиком. По раскалённому асфальту. И асфальт под её ногами — Никита видел — не дымился.

Наоборот. Где она ступала, оставались следы — светлые, как будто высветленные, выжженные добела.

Рабочие у катка стояли и смотрели на неё.

Она подошла к ним.

Остановилась.

Никита не слышал, что она сказала. Он был далеко — через улицу, метров сорок. Но видел: она наклонилась к самому молодому из рабочих — парню лет двадцати, в оранжевом жилете на голое тело, с лопатой. Наклонилась — как наклоняется высокий взрослый к маленькому ребёнку. Близко. Что-то сказала.

Парень смотрел на неё снизу вверх. Открыл рот. Закрыл.

Ничего не ответил.

Она выпрямилась.

Подняла серп. Не замахнулась — просто подняла. Медленно. И легонько — как касаются плечом, проходя мимо, — коснулась серпом его шеи. Плашмя. Тупой стороной.

Парень упал.

Не рухнул — лёг. Мягко. Аккуратно. Как ложатся спать. Прямо на горячий асфальт, рядом с лопатой. Закрыл глаза. И улыбнулся.

Женщина пошла дальше.

Мимо универмага. Мимо остановки. Мимо мальчишки на велосипеде — мальчишка стоял и смотрел, и она прошла мимо, не наклонившись. Мимо бабки с ведром. К перекрёстку.

И на перекрёстке — Никита моргнул — её не стало.

Она не свернула. Не зашла за угол. Просто — в одном шаге была, в следующем — нет. Белое сияние на месте, где она шла, ещё секунду дрожало в воздухе, как дрожит над асфальтом марево. Потом — пропало.

Звук вернулся.

Сразу. Весь. Мотор грузовика. Крик чайки над Сызранкой. Шорох шин по асфальту. Мальчишка на велосипеде — оттолкнулся ногой и поехал, как будто ничего не было. Бабка у колонки охнула, увидев, что ведро давно полное и вода льётся ей на тапки.

Рабочие у катка — двое оставшихся — смотрели на третьего.

Тот лежал на асфальте. Спал. Улыбался.

— Колян, — сказал один из рабочих. — Колян, ты чего?

Колян не ответил.

— Колян!

Рабочий присел. Потряс его за плечо. Колян не проснулся. Даже не пошевелился. Только улыбался — блаженно, широко, как улыбаются во сне дети, когда им снится, что они летают.

— Скорую, — сказал второй рабочий. — Солнечный удар. Скорую, быстро.

Никита стоял на крыльце «Продуктов 24». С пакетом сметаны в руке.

Термометр над дверью магазина показывал плюс тридцать три.

Часы на телефоне — двенадцать ноль четыре.

Он не помнил, когда достал тетрадь. Нашёл её у себя в руках — уже открытой, на пятой странице. Ручку — тоже. Писал стоя. Прямо на крыльце. Прислонив тетрадь к двери магазина.

«12:01–12:04. Советская, у универмага.

Женщина. Рост — около 2,5 м. Белая рубаха, красный пояс. Волосы белые, до колен, не двигаются. Лица не видно (сияние). Босиком. Следы — светлые, выжженные. Серп — старый, тупой.

Подошла к рабочему (молодой, около 20 лет). Сказала что-то. Он не ответил. Коснулась серпом шеи — плашмя. Упал. Спит. Улыбается.

Мимо мальчика и бабки прошла — не тронула.

Исчезла на перекрёстке — не ушла, исчезла.

Звук на это время — пропал».

Он посмотрел на написанное.

Потом — ниже, отдельно:

«Это не солнечный удар».

Подчеркнул.

Потом подумал. И ещё ниже, мелко, под чертой:

«Полдень. Ровно».

Скорая приехала через двенадцать минут. Никита видел — стоял на крыльце, не уходил. Из машины вышла Людмила Ивановна — в синей форме, с чемоданчиком, с красным от жары лицом. Присела над Коляном. Пощупала пульс. По-

светила фонариком в глаза. Похлопала по щекам.

Колян спал. Улыбался.

— Давление нормальное, — сказала Людмила Ивановна рабочим. — Пульс нормальный. Температура — нормальная. Дыхание — нормальное. — Она посмотрела на Коляна. — Он просто спит.

— Так разбудите.

— Пробую.

Она пробовала. Нашатырь. Ледяная вода из бутылки — на лицо, на шею. Громко — над ухом. Растирала уши. Колян спал. Улыбался. Один раз — пошевелил губами, будто что-то сказал во сне, и улыбнулся шире.

Его погрузили на носилки. В машину.

Людмила Ивановна, закрывая дверцу, увидела Никиту на крыльце магазина. Узнала — он был у неё однажды, с Василисой, в позапрошлом году, когда Лихо, и она тогда долго смотрела на него, ничего не понимая, и в конце концов сказала «ну и работа у вас».

Она посмотрела на него сейчас. Через улицу.

Потом подошла.

— Тарасов, — сказала она. — Ты — Васин?

— Её ученик.

— А она где?

— На море. Уехала сегодня. На три недели.

Людмила Ивановна помолчала.

— Это — по вашей части? — спросила она. Тихо. Кивнула

на скорую.

Никита посмотрел на машину. На закрытые задние двери.

Потом на белые следы на асфальте. Они ещё были — светлые, выжженные, ровной цепочкой, от Кремлёвской к универмагу. Никто, кроме него, на них не смотрел. Рабочие стояли прямо на одном из них и не замечали.

— По нашей, — сказал Никита.

Людмила Ивановна кивнула.

— Это первый, — сказала она. — Сегодня. Я тебе скажу, если будут ещё.

— Будут, — сказал Никита.

Он сам не знал, откуда знает.

Домой он шёл по теневой стороне. Быстро. Почти бегом. Со сметаной в пакете — сметана к тому времени нагрелась и стала жидкой.

Модест на печке открыл один глаз, когда Никита влетел в кухню.

— Тарасов, — сказал кот. — Ты бежал. Ты красный. От тебя пахнет асфальтом и страхом. — Он открыл второй глаз. — И сметана — тёплая.

— Модест, — сказал Никита. — Кто ходит в полдень в белом, с серпом, и задаёт вопросы?

Модест не ответил.

Он медленно сел. Обвил лапы хвостом.

Фрол Евсеич на шестке выключил телевизор. Пультом. Не глядя.

Из-за печки — веретено остановилось.

— Повтори, — сказал Модест.

Никита повторил. Слово в слово. По тетради. Рост, рубаха, пояс, волосы, серп. Следы. Рабочий. Сон. Улыбка. Полдень. Ровно.

Модест долго молчал.

— Сколько ей было лет? — спросил он наконец.

— Не знаю. Лица не видно. Сияние.

— А серп — какой?

— Старый. Тупой. Ржавый почти.

Модест посмотрел на Фрола Евсеича.

Фрол Евсеич смотрел в окно. На белёсое небо. На белое солнце.

— Полудница, — сказал домовой. — Ржаная.

— Я тоже так думаю, — сказал Модест.

Никита открыл тетрадь. Записал. «Полудница». И замер с ручкой.

Он читал про полудниц. У Афанасьева, у Даля, у Максимова. Полдневная дева. Ходит по ржаным полям в самый жар. Охраняет хлеб. Наказывает тех, кто работает в поле в полдень. Задаёт загадки. Кто не ответит — того… Тексты расходились. Где-то — сворачивает шею. Где-то — щекочет до смерти. Где-то — уводит. Где-то — насылает «полуденный сон», от которого не просыпаются.

— Но она же — полевая, — сказал Никита. — Она в поле живёт. Во ржи. Что она делает в городе? На Советской?

Фрол Евсеич повернулся.

Посмотрел на него.

— А ты ржаное поле, Тарасов, — спросил домовой, — около Сызрани — когда последний раз видел?

Никита открыл рот.

И закрыл.

Он не видел ржаного поля никогда. Ни разу в жизни. Он знал, как выглядит рожь, — по картинкам, по учебнику биологии за шестой класс. Колос. Ость. Злаковые.

А вокруг Сызрани — коттеджные посёлки. Дачи. Склады. Трасса. Нефтезавод. И на месте старого совхоза «Красный пахарь», за Ивашевкой, — Никита видел это прошлым летом, ездил с мамой на дачу к её подруге, — поле. Огромное. До горизонта. Только не ржаное.

Синее. Блестящее. Ряд за рядом, на металлических ножках, наклонённые к югу.

Солнечные панели.

— Ей некуда идти, — сказал Фрол Евсеич. — Вот она и пришла. — Он посмотрел в окно. — К нам.

Термометр на крыльце показывал плюс тридцать четыре.

Ходики пробили час.

Глава 2. +32

Ко вторнику их было пятеро.

Колян — дорожный рабочий, двадцать один год, с Советской. Пятница, двенадцать ноль три.

Галина Михайловна — пенсионерка, семьдесят шесть, полола клубнику на даче в Образцовом. Суббота, двенадцать ноль одна. Соседка нашла её между грядками. С тяпкой в руке. Улыбающуюся.

Сергей Петрович Лаптев — водитель маршрутки номер четыре, пятьдесят два. Воскресенье, двенадцать ноль две. Остановил машину посреди Ульяновской, на зелёный свет, вышел из кабины на солнцепёк — пассажиры потом рассказывали, что «его кто-то позвал», хотя никто ничего не слышал, — и лёг на асфальт рядом с колесом. Пассажиры думали — инсульт. Скорая сказала — нет. Спит.

Девочка двенадцати лет, Аня, с Засызранья. Понедельник, двенадцать ноль ноль. Каталась на велосипеде по пустырю за школой. Велосипед нашли через час — лежал в траве, колесо ещё медленно крутилось. Аню — рядом. В обнимку с одуванчиками.

И Тихон Ильич Мухин, девяносто один, бывший агроном. Вторник, двенадцать ноль четыре. Сидел на лавочке у подъезда на Кремлёвской. В шляпе. С газетой. Он, по словам соседки, видел, как она подходит. Встал ей навстречу. Снял

шляпу. Поклонился — низко, по-старинному, в пояс. И что-то ей сказал. Долго говорил — минуту, не меньше. Соседка слышала только голос, не слова. А потом Тихон Ильич сел обратно на лавочку. Положил шляпу на колени. Закрыл глаза.

И уснул.

Все пятеро лежали в одной палате. На втором этаже городской больницы, в терапии. Людмила Ивановна договорилась — сказала заведующему, что это, похоже, какая-то новая форма теплового поражения, и лучше держать их вместе, наблюдать. Заведующий согласился. Ему было всё равно — у него в отделении стояла жара плюс тридцать один, кондиционеры не справлялись, и половина персонала была на больничном.

Никита пришёл туда во вторник, в три часа. После консультации по русскому.

Людмила Ивановна провела его через чёрный ход, мимо поста, мимо столовой, где пахло перловкой. Остановилась у двери палаты. Посмотрела на него.

— Только ничего не трогай, — сказала она. — И ничего не… делай. Если не уверен.

— Я ничего не буду делать. Я — посмотреть.

Она открыла дверь.

Палата была светлая, большая, на шесть коек. Окна — на солнечную сторону, задёрнуты жёлтыми шторами, но всё равно жарко. Пахло лекарствами и нагретым линолеумом.

Пятеро лежали на кроватях. Под капельницами. С кислородными трубочками в носу — Людмила Ивановна сказала, что это так, на всякий случай, дышат они сами, нормально, ровно.

И все — улыбались.

Это было самое страшное. Никита понял это не сразу. Сначала просто смотрел — на Коляна у окна, загорелого, с выгоревшими бровями, в больничной рубахе; на Галину Михайловну, маленькую, сухую, с землёй под ногтями, которую так и не отмыли; на водителя маршрутки, грузного, с усами; на Аню, тоненькую, с ободранными коленками и с одуванчиком, который кто-то из санитарок воткнул ей в стакан на тумбочке; на Тихона Ильича, седого, в очках, которые с него забыли снять.

Все пятеро улыбались. Одинаково. Широко. Безмятежно. Как улыбаются во сне, когда снится что-то очень хорошее. Самое лучшее, что может присниться.

— Вот, — сказала Людмила Ивановна. — Пятый день — Колян. Ни разу не проснулся. Кормим через зонд. Анализы — нормальные. Томография — нормальная. Энцефалограмма — как у спящего. Обычный сон. Глубокий. Фаза — не меняется. Как будто его выключили на одной кнопке.

Никита подошёл к Коляну.

Не трогал. Смотрел.

Потом — достал из рюкзака то, что взял сегодня утром с Василисиной полки. Маленькое зеркальце — круглое, в

латунной оправе, Агафьино. Василиса Андреевна говорила, что Агафья по нему смотрела, «есть ли в человеке человек». Как — Никита не знал. Агафья не оставила инструкции.

Он поднёс зеркальце к лицу Коляна. Не к губам — к глазам. К закрытым векам.

В зеркальце было — поле.

Никита чуть не выронил его.

Не Колянино лицо. Не потолок палаты. Поле. Золотое. Широкое. До самого горизонта. Колосья — высокие, по пояс, тяжёлые, наклонённые. И солнце — над полем — огромное, жёлтое, тёплое. Не белое, как сейчас над Сызранью. Жёлтое. Как на детском рисунке.

И по полю, в колосьях, по пояс, — шёл Колян. Маленький. Издалека. С голой спиной. Смеялся. Трогал колосья руками.

Никита отвёл зеркальце.

Колян на кровати улыбался.

— Что там? — спросила Людмила Ивановна. Шёпотом.

— Поле, — сказал Никита. — Он в поле. Ему хорошо.

Людмила Ивановна молчала.

Никита обошёл всех. По очереди. С зеркальцем.

У Галины Михайловны — поле. Рожь. Но не до горизонта — с краю видна была деревня, избы, колодец-журавль, и маленькая девочка в платке бежала по меже к избам и кричала что-то — «мама», наверное. Галина Михайловна, догадался Никита. В детстве.

У водителя маршрутки — поле. Рожь. И трактор на краю

— старый, гусеничный, ДТ-75. И парень в кабине. Молодой. С усами. Высунулся из окна, машет кому-то.

У Ани — поле. Рожь. И одуванчики по краю. Много. Жёлтые. И Аня на велосипеде — едет по меже, быстро, раскинув руки, без рук.

У Тихона Ильича — поле.

Огромное. Самое большое из всех. Колосья — не по пояс, по грудь. Золотые. Тяжёлые. Волнуются под ветром — от края до края, как море. И посреди поля — человек. Высокий, сутулый, в соломенной шляпе. Молодой. Стоит, держит в ладони колос. Рассматривает. Как рассматривают драгоценность.

А рядом с ним — Никита присмотрелся — рядом с ним, в колосьях, в двух шагах, стояла она.

Высокая. В белом. С красным поясом. С серпом.

И — Никита видел, в маленьком латунном зеркальце, — у неё было лицо.

Не сияние. Лицо. Женское. Немолодое. Широкоскулое, загорелое, с морщинами у глаз — от солнца, от прищура. Обыкновенное. Деревенское. Как у бабушек с фотографий пятидесятых годов, которые стоят у колхозной конторы с граблями.

Она смотрела на молодого Тихона Ильича. И улыбалась.

Никита опустил зеркальце.

Тихон Ильич на кровати улыбался тоже.

— Он с ней разговаривал, — сказал Никита. — Соседка

говорила. Минуту. Он ей что-то сказал. А потом — уснул.

— И что это значит? — спросила Людмила Ивановна.

Никита не знал.

Евсей жил у Михеича за печкой. На Нижне-Кирпичной. Никита пришёл туда в шесть.

Михеич сидел во дворе, в тени яблони, в майке и в голубой Клавиной шапке, — он носил её и летом, сказал, что так привык, — и обмахивался газетой. Рядом с ним, на табуретке, стоял таз с холодной водой. В тазу сидела Варя.

Прямо в платье. По пояс в воде. С мокрыми волосами, белыми, прилипшими к щекам.

— Жарко ей, — объяснил Михеич, когда Никита подошёл. — Третий день. Она ж снежная. Ей плюс тридцать — как нам плюс шестьдесят. Сидит в тазу. Я ей лёд из морозилки подкладываю. Три пачки за день. — Он покачал головой. — В магазине уже смеются. Говорят — дед, ты что, коктейли делаешь?

Варя посмотрела на Никиту. Синими глазами. С белыми ресницами. Вялая. Бледная — не розовая, как в мае, а почти прозрачная.

— Привет, Никита, — сказала она.

— Привет. Ты как?

— Плохо, — сказала Варя честно. — Солнце — злое. Раньше было доброе. А сейчас — злое. — Оно смотрит.

— Кто смотрит?

— Солнце, — сказала Варя. — В полдень. Особенно. Как

будто глаз. Большой. Белый. Ищет. — Она поёжилась в тазу. — Я под яблоней сижу. Под яблоней — не видит.

Никита посмотрел на неё. Потом — на небо. Белое. Выцветшее.

— Деда, — сказала Варя. — Никита к дедушке Евсею пришёл. Пусти его.

Михеич, который не видел и не слышал ни Евсея, ни Агриппину, ни Модеста, ни Устю, но за год научился верить внучке на слово, — кивнул. Махнул газетой в сторону дома.

— Иди, — сказал он. — Он там, наверное, телевизор смотрит. Я ему включаю. «Поле чудес» любит. И «Сельский час». Не знаю зачем. Но любит.

Евсей сидел на шестке. На Клавиной чашке с васильками. Смотрел в окно.

Агриппина — рядом. С ухватом. Пришла из гаража на соседней улице. Сказала: «В «Волге» — как в духовке, я там спечься могу».

Никита рассказал всё. Про Советскую. Про пятерых. Про зеркальце. Про поля во снах. Про лицо.

Евсей слушал молча. Не перебивал.

Когда Никита дошёл до лица — до широкоскулой, загорелой, деревенской бабы рядом с молодым Тихоном Ильичом, — Евсей закрыл глаза.

— Заряна, — сказал он.

— Что?

— Заряна, — повторил Евсей. — Так её звали. Полудни-

цу «Красного пахаря». Ну — не её. Её никак не звали. Это Тихон Мухин так звал. Сам придумал. Агроном. — Евсей открыл глаза. — Он её знал. Семьдесят лет знал. С шестидесятых.

Никита сел. На пол. У печи.

— Как — знал?

— Так и знал, — сказала Агриппина вместо мужа. — Мне Евсей рассказывал, а ему — домовой совхозной конторы, Пахомыч, царствие ему. — Она поставила ухват к стене. — Мухин был агроном. Главный. В «Красном пахаре». С шестьдесят пятого года. Тридцать с лишним лет. Рожь сеял. Озимую. Лучшую в области. Медали получал. — Он её в первый же год встретил. В поле. В полдень. Она к нему вышла. Спросила.

— Что спросила?

— Не знаю, — сказала Агриппина. — Он никому не говорил. Только Пахомыч слышал, как Мухин ей ответил. Он сказал: «Я тебе, хозяйка, рожь сохраню. Пока живой — сохраню». — Агриппина помолчала. — И она его отпустила. И потом всю жизнь он каждое лето, в Петров день, в полдень, ходил в поле. Один. Без шапки. И стоял там. А она — рядом. Пахомыч видел.

— А потом?

Евсей вздохнул.

— А потом совхоз развалился, — сказал он. — В девяносто восьмом. Мухина на пенсию. Поле — кому-то продали.

Кому-то ещё. Лет десять пахали кое-как. Сеяли, что придётся. Рожь — реже. Потом — совсем перестали. Заросло бурьяном. — А в тридцать третьем году приехали люди с бумагами. Бурьян скосили. Землю выровняли. Поставили столбы. И панели. Синие. Двадцать гектаров. Солнечная станция «Ивашевская».

— Я знаю. Я видел.

— Видел, — кивнул Евсей. — А она — видела? Мухин ходил туда в Петров день. В прошлом году. Девяносто лет — ходил. Пешком. На автобусе до Ивашевки, а дальше — пешком, по жаре, три километра. Встал у забора. Забор — сетка, колючка, табличка: «Опасно для жизни». Постоял. — Евсей посмотрел в окно. — И её не было. Сказал Пахомычу потом — не вышла. Первый раз за шестьдесят девять лет.

Тишина в кухне.

Холодильник гудел. На улице Михеич шуршал газетой. Варя в тазу плескала водой.

— Она ушла, — сказал Никита. — С поля. Потому что поля нет.

— Не ушла, — сказал Евсей. — Ей уходить некуда. Она — поле. Полудница без поля — как я без печи был. Двести шестьдесят лет. — Она бродит. Два года. Вокруг станции. По ночам — спит в бурьяне у забора. Днём — ходит. Ищет. Рожь. Хоть колосок.

— А в Сызрань — почему?

Евсей посмотрел на него.

— Жара, — сказал он. — Тридцать пять. Сорок скоро. Такого лета сто лет не было. Она в такую жару — сильная. Как никогда. Её полдень — длинный. И она голодная. — Он помолчал. — Она пришла туда, где люди. Спрашивать.

— Что спрашивать?

— А то, что спрашивала всегда, — сказала Агриппина. — Своё. Про хлеб. Про поле. Про жатву. «Чей ты? Что сеешь? Что жнёшь? Где твоё поле?» — Она покачала головой. — А у вас, у городских, — что ответить? Вы хлеб в магазине берёте. В пакете. Нарезной. Вы поля не видели. Рожь от пшеницы не отличите.

— И они молчат, — сказал Никита.

— Молчат, — кивнул Евсей. — А кто молчит — того она забирает. В поле. В своё. Которого нет. Которое — только у неё в голове осталось. И у них — во сне.

— Она их… убивает?

Евсей долго молчал.

— Нет, — сказал он. — Не убивает. Она — не злая. Она — полевая. Она жнёт. — Он посмотрел на Никиту. — Раньше, в старину, — кто в полдень в поле работал, того полудница могла — серпом. И всё. Сразу. А эти — спят. Она их не жнёт. Она их — в снопы. Вяжет. Чтоб сохранить. Как Мухин ей обещал — рожь сохранить. Она — их сохраняет. По-своему.

— Сколько они так проспят?

Евсей не ответил.

Агриппина ответила за него.

— Пока она не уйдёт, — сказала она. — Или пока — не кончится полдень. Её полдень. — А полдень у полудницы кончается — на солнцеворот. На самый длинный день. Потом — на убыль. Потом она слабеет. И засыпает сама. До следующего лета.

— Двадцать первое июня, — сказал Никита.

— Двадцать первое.

— Это — шестнадцать дней.

— Шестнадцать, — сказал Евсей. — А в жару, Тарасов, человек без воды — сколько проживёт? Во сне? Под капельницей — дольше. Но — сколько?

Никита не знал.

— И сколько их будет — к двадцать первому? — спросил Евсей. — По одному в день? По два? По пять? Жара растёт. Она — растёт.

Никита посмотрел в окно.

Двор. Яблоня. Михеич в голубой шапке. Варя в тазу.

Термометр на заборе показывал плюс тридцать два. В шесть вечера.

— А если ответить? — спросил он. — Правильно? Что она тогда?

Евсей посмотрел на него. Долго.

— Мухин — ответил, — сказал он. — Семьдесят лет назад. И она его — отпустила. Семьдесят лет он с ней разговаривал. В Петров день. А сегодня он опять к ней вышел. Шляпу снял. Поклонился. И что-то ей сказал. — И она его

забрала.

— Почему?

— Не знаю, — сказал Евсей. — Может, он ей сказал правду. Что поля больше нет. Что он не сохранил.

Никита закрыл глаза.

Перед глазами — латунное зеркальце. Огромное поле, до горизонта. Колосья по грудь. Молодой Тихон Ильич в соломенной шляпе — с колосом в ладони. И рядом — широкоскулая деревенская баба в белом. Улыбается.

«Я тебе, хозяйка, рожь сохраню. Пока живой — сохраню».

— Он не к ней вышел, — сказал Никита медленно. — Он — к ней ушёл. Сам. Туда. В поле. Где она — помнит.

Евсей не ответил.

Но Агриппина, рядом с ним, — кивнула.

Василиса Андреевна позвонила в девять вечера. По видеосвязи.

На экране — море. Синее, тёмное, вечернее. Пляж. Гаша на заднем плане — в панамке, по колено в воде, с лаптем в руке, пыталась поймать им краба. Егор Алексеевич — рядом с ней, держал за плечо. Алёша — на полотенце, с черепахами, смотрел на воду серьёзно.

— Как ты там? — спросила Василиса Андреевна. Загорелая. С облупившимся носом. Весёлая.

Никита посмотрел на неё.

На море за её спиной. На Гашу с лаптем. На Егора Алексеевича, который сейчас — впервые за восемь лет, Никита

знал это от Модеста, — был в отпуске больше чем на пять дней подряд.

— Нормально, — сказал он.

— Модест — ест?

— Ест.

— Фрол Евсеич — ворчит?

— Ворчит.

— Клиенты?

Никита помолчал. Секунду.

— Двое, — сказал он. — Бабушка с давлением. И девушка с приворотом — я ей сказал, что приворотов не делаем, она ушла.

— Молодец, — сказала Василиса Андреевна. И засмеялась. — Видишь? Справляешься. Я так и знала.

— Справляюсь.

— Жарко у вас?

— Жарко. Тридцать два.

— У нас — двадцать восемь. И ветерок. — Она повернула телефон. Море. Закат. Чайки. — Красиво?

— Красиво, — сказал Никита.

— Ну, всё. Я завтра позвоню. Пока!

Экран погас.

Никита сидел на кухне. С телефоном в руке. С зелёной тетрадью на столе.

Модест на печи смотрел на него. Жёлтыми глазами.

— Ты ей не сказал, — сказал кот.

— Не сказал.

— Почему?

Никита долго молчал.

— Потому что она восемь лет не была в отпуске, — сказал он. — Потому что Егор Алексеевич восемь лет не был. Потому что Гаша первый раз видит море. — Он посмотрел на кота. — Потому что она мне оставила ключи. И сказала — справишься.

— А если не справишься?

— Тогда скажу, — сказал Никита. — Но сначала — попробую.

Модест смотрел на него.

Потом — медленно — моргнул. Один раз. По-кошачьи.

— Тарасов, — сказал он. — Ты дурак.

— Знаю.

— Хороший дурак. — Кот положил голову на лапы. — Агафья тоже такая была. В семьдесят втором. Я её помню. — Он закрыл глаза. — Ты Гроссбух открой. Семьдесят второй год. Июль. Там что-то было. Про жару. Я не помню что. Я тогда спал. Жарко было.

Никита открыл Гроссбух.

Агафьин. Огромный, тяжёлый, в кожаном переплёте, с медными уголками. Он стоял на полке в сенях, и Василиса Андреевна разрешила Никите его брать только при ней. Но сейчас её не было. А он был — на хозяйстве.

Семьдесят второй год.

Страницы — пожелтевшие, ломкие. Почерк — Агафьин, молодой ещё, круглый, с наклоном вправо. Чернилами. Фиолетовыми.

Январь. Февраль. Март. Клиенты. Испуги, зубы, сглазы, привороты-отвороты (с пометкой «отказала»).

Июнь.

Июль.

«14 июля 1972. Жара — 38. Торфяники под Сызранью горят. Дым.

Приходила Мухина Нина, жена агронома из «Красного пахаря». Просила за мужа. Говорит: ходит в поле в полдень, без шапки, стоит часами. Говорит — разговаривает с кем-то. Говорит — боится, что солнечный удар.

Поехала. Посмотрела.

Полудница. Ржаная. Старая. Добрая. Мухин её сторож — она его выбрала. Он ей пообещал что-то. Держит слово.

Сказала Нине — не трогай. Он не болен. Он — на службе.

Нина плакала. Потом — ничего. Поняла.

NB: Полудницу не прогонять. Никогда. Она — хлеб».

Никита перечитал три раза.

Потом нашёл ниже. Тем же почерком. Мелко. Другими чернилами — синими, позже. Приписка на полях.

«Если поле уйдёт — она пойдёт искать. Если придёт в город — не бегать от неё. Не прятаться. Ответить. Правду. Любую. Она отпускает тех, кто знает, где их поле. Даже если поле — не рожь.

Мальчишка Рябовых в 72-м ей сказал: «не знаю, где моё поле». Она его отпустила. Сказала — "найдёшь — придёшь, расскажешь"».

Никита сидел над Гроссбухом.

Долго.

Потом взял зелёную тетрадь. Переписал. Слово в слово.

Подчеркнул: «Даже если поле — не рожь».

Подчеркнул ещё раз.

Термометр на крыльце в десять вечера показывал плюс тридцать.

Ночь не принесла прохлады.

Глава 3. +33

Пятого июня, во вторник, в девять утра, Никита Тарасов вышел из дома с паспортом, двумя чёрными гелевыми ручками, бутылкой воды без этикетки и зелёной тетрадью, которую на экзамен проносить было нельзя и которую он собирался оставить в камере хранения у входа.

Мама провожала его до калитки.

Ирина Тарасова работала кассиром в «Пятёрочке» на Ульяновской, двенадцать часов через двенадцать, и сегодня у неё был выходной, который она взяла специально — поменялась с Наташей, отдала ей свою субботу. Она стояла у калитки в халате, с чашкой остывшего кофе, и смотрела на сына. Метр восемьдесят шесть. Очки. Рубашка — белая, выглаженная ею в шесть утра, потому что Никита сказал, что сам, а потом забыл.

— Воду взял?

— Взял.

— Паспорт?

— Взял.

— Шапку?

— Мам, какая шапка.

— Кепку, — поправилась Ирина. — От солнца. Тридцать три обещают. В полдень на улицу не выходи. Слышишь? Там по телевизору сказали — солнечные удары. Пятеро уже. В

больнице. Спят.

Никита посмотрел на неё.

Она знала. Не про полудницу, конечно, — про ведьм. Два с половиной года знала, с того дня, когда он вернулся из подвала Спасской башни с Лихом на спине, и она приехала к Василисе на такси, и долго сидела на кухне, и смотрела на кота, и ничего не говорила, а потом сказала: «Ладно. Только чтобы уроки». Уроки он делал. Она больше не спрашивала. Но — знала.

— Я после экзамена в школе посижу, — сказал он. — До часу. Не пойду в полдень.

— Посиди, — сказала Ирина. И вдруг шагнула к нему. Обняла. Крепко. Неловко — она была ему по плечо, — чашка с кофе плеснула ему на рубашку. Кофе был холодный. — Ой. Господи. Рубашка.

— Ничего, мам.

— Пятно же.

— Ничего. Тёмное — не видно.

— Белая рубашка. Где ж тёмное.

Никита посмотрел на пятно. Коричневое. На белой ткани. На груди. Слева.

— Пусть будет, — сказал он. — На удачу.

Ирина смотрела на него. Потом засмеялась. Сквозь что-то, что было похоже на слёзы.

— Иди уже, — сказала она. — Удача.

Пункт проведения экзамена был в двадцать первой шко-

ле, на Монгоре. Новая, четырёхэтажная, огромная, стеклянная, с кондиционерами, с рамками металлоискателей на входе и с камерами в каждом углу. Одиннадцатиклассников со всего города свозили туда автобусами. Никита приехал сам — на маршрутке номер семь, в которой водитель, пожилой, усатый, всю дорогу молчал и смотрел в зеркало заднего вида на свою собственную улыбку, как будто проверял, на месте ли.

У входа — толпа. Двести человек. Родители, учителя, выпускники. Нервный смех. Последние повторения: «Как там пишется "в течение" — с "е" на конце?» Кто-то крестился. Кто-то жевал шоколадку, «для мозга». Кто-то стоял в наушниках, закрыв глаза.

Соня стояла у крыльца. В тени. Одна.

В белой блузке. С тёмными волосами, собранными в тугой хвост. С прозрачным пеналом в руке, в котором лежали ровно две ручки, паспорт и маленькая шоколадка «Алёнка». Смотрела в телефон. Губы шевелились — повторяла.

Никита подошёл.

— Привет.

Соня подняла голову. Улыбнулась — коротко, быстро, как улыбалась всегда, будто экономила.

— Привет, Тарасов. — Посмотрела на его рубашку. — У тебя пятно.

— Мама. Кофе. На удачу.

— На удачу, — повторила Соня. С сомнением. Как повто-

ряют непроверенную гипотезу. — Ладно. Принято. — Помолчала. — Ты повторял «не» с причастиями?

— Повторял.

— А «н» и «нн» в кратких?

— Повторял.

— А… — Она замолчала. Посмотрела на него. — Ты нервничаешь?

— Нет.

— Врёшь. У тебя ухо красное. Левое. Ты, когда врёшь, — левое краснеет.

Никита потрогал ухо. Горячее.

— Это от жары.

— Правое — не красное.

Он не нашёлся, что ответить. Соня усмехнулась. И вдруг — неожиданно — протянула ему «Алёнку». Из пенала.

— На, — сказала она. — На удачу. Тоже. Мне — не надо, я химию сдаю четырнадцатого, мне сегодня — не главное.

— А тебе самой?

— Я после экзамена куплю, — сказала Соня. — Тут ларёк есть. За углом.

Никита взял шоколадку. Положил в нагрудный карман. Рядом с кофейным пятном.

— Соня, — сказал он. — После экзамена — не выходи. На улицу. Посиди в школе. До часу.

Соня посмотрела на него.

— Почему?

— Солнечные удары, — сказал Никита. — Пятеро уже. В полдень. Все — ровно в двенадцать.

— Я видела в новостях, — сказала Соня. — Это странно. Солнечный удар не наступает в определённую минуту. Это — накопительное. Гипертермия развивается постепенно, в зависимости от времени экспозиции, влажности, индивидуальной чувствительности. Не может быть, чтобы у пятерых разных людей — ровно в двенадцать ноль-ноль. Статистически…

— Соня.

— Что?

— Это не солнечный удар.

Соня замолчала.

Посмотрела на него. Внимательно. Как смотрела на задачу, которая не сходилась с ответом в конце учебника.

— Это — по твоей части? — спросила она. — По ведьминой?

— По моей, — сказал Никита.

Соня долго молчала.

— Ладно, — сказала она. — Посижу. До часу. — Помолчала. — Ты мне потом расскажешь?

— Расскажу.

— Всё?

— Всё, что знаю.

— Принято, — сказала Соня.

Двери открылись. Толпа качнулась к рамкам.

Сочинение Никита закончил в одиннадцать сорок две.

Он не собирался заканчивать рано. Он собирался сидеть до последней минуты, проверять, перепроверять, перечитывать. Но тема попалась — про память. «Какую роль играет память о прошлом в жизни человека?» И он писал — сорок минут, не отрываясь, — про Михеича, который полвека не верил в домовых, а теперь каждый вечер говорит печке «спокойной ночи». Не называя, конечно. «Один мой знакомый, пожилой человек…» Про голубую шапку. Про то, что память — это не то, что ты хранишь в голове, а то, что ты делаешь руками. Каждый день. Как ставишь чашку для того, кого не видишь.

Перечитал. Исправил две запятые. Сдал.

Организатор — молодая женщина в синей жилетке — посмотрела на часы. На него.

— Рано, — сказала она. — Ещё два часа.

— Я всё.

— Уверен?

— Уверен.

Она пожала плечами. Отметила в ведомости. Он вышел из аудитории.

В коридоре было прохладно. Кондиционер гудел. Никита постоял у окна. За окном — школьный двор. Футбольное поле с искусственной травой — ярко-зелёной, неестественной, как на картинке. Беговые дорожки. Турники. Сетка забора. И солнце — белое, огромное, неподвижное, — над

всем этим.

Пустой двор. Никого.

Никита посмотрел на часы.

Одиннадцать сорок пять.

Он забрал из камеры хранения телефон, рюкзак, зелёную тетрадь. Сел на подоконник в холле. Открыл тетрадь.

«5 июня. 11:45. ППЭ, 21-я школа. Сочинение — сдал.

Жду до 13:00, как обещал маме и Соне.

Вопросы к П. (возможные): "чей ты", "что сеешь", "что жнёшь", "где твоё поле".

Ответы — ???»

Он смотрел на эти три вопросительных знака.

Он думал о них три дня. С того вечера, когда прочитал Агафьину приписку. «Она отпускает тех, кто знает, где их поле. Даже если поле — не рожь».

Где его поле?

Он не знал.

Физика? Он любил физику. Хотел поступать — в Самару, на физфак. Или в Москву, если баллов хватит. Но — поле ли это? Он не знал. Он любил физику, как любят хорошую книгу. Но книгу можно закрыть.

Ведовство? Он — ученик. Два с половиной года. Шесть тетрадей. Он уложил Лихо. Он первым прочитал про змея. Он умеет — ну, кое-что. Анчуток гонять свистом. Читать следы. Слушать Модеста. Но поле ли это? Василиса Андреевна видит нитки. Он — не видит. Он — записывает. Ведьма

ли он? Или — так, секретарь при ведьме?

Соня?

Он закрыл тетрадь.

Соня — не поле. Соня — Казань. Двадцать девятое июня.

Часы на стене холла показывали одиннадцать пятьдесят восемь.

Он поднял голову. Посмотрел в окно.

На футбольном поле — на ярко-зелёной искусственной траве — кто-то стоял.

Девочка. Маленькая. Лет семи-восьми. В белом платье. Босиком. Она стояла посреди поля, спиной к школе, и смотрела в небо. Одна.

Никита вскочил.

Откуда? Двор был пустой. Ворота — закрыты: на время экзамена территория ППЭ охраняется, посторонних не пускают. Он сам видел, как охранник запирал калитку.

Девочка стояла на поле. Неподвижно.

Часы — одиннадцать пятьдесят девять.

Никита не думал. Бросил рюкзак на подоконник. Тетрадь — в карман. Выбежал. Через холл. Мимо охранника — тот крикнул что-то, Никита не расслышал. Через двери. На крыльцо.

Жара ударила в лицо. Как из открытой духовки.

Плюс тридцать три, сказало табло над входом.

Он сбежал с крыльца. Побежал через двор — к футбольному полю. К девочке.

— Эй! — крикнул он. — Эй, уйди оттуда! Иди в тень!

Девочка не обернулась.

Он перемахнул через низкий бортик. Выбежал на поле. Искусственная трава пружинила под ногами — горячая, как сковорода, Никита чувствовал жар через подошвы кроссовок.

До девочки — двадцать метров.

Пятнадцать.

Десять.

Полдень.

Звук выключился.

Никита остановился. Не сам — его остановило. Как будто воздух вокруг стал плотным, тягучим, как мёд. Он не мог сделать шага. Не мог крикнуть. Стоял посреди футбольного поля на ярко-зелёной траве и смотрел.

Девочка обернулась.

Медленно. Через плечо.

У неё не было лица. Белое сияние. Как от сварки.

А потом — она начала расти.

Никита смотрел. Не мог не смотреть. Девочка вытягивалась вверх — плавно, без рывков, как вытягивается тень на закате. Метр двадцать. Полтора. Два. Белое платье — стало длиннее, шире, грубее: холст, домотканый, подпоясанный красным. Волосы — светлые, длинные — потекли вниз, до пояса, до колен. В опущенной руке — из ниоткуда — появился серп.

Два с половиной метра.

Она стояла перед ним. Посреди футбольного поля двадцать первой школы. На искусственной траве. Под белым солнцем.

Полудница.

Сияние на месте лица — дрожало. Медленно гасло. И Никита увидел — как в латунном зеркальце, в больнице, — лицо. Широкоскулое. Загорелое. С морщинами у глаз. Немолодое. Деревенское.

Глаза у неё были — цвета ржи. Золотые. Выцветшие.

Она смотрела на него. Сверху вниз. Долго.

Потом — наклонилась. Как наклоняется высокий взрослый к маленькому ребёнку. Близко. Так близко, что Никита почувствовал её дыхание — горячее, сухое, пахнущее хлебом. Свежим. Ржаным. Только что из печи.

И спросила.

Голос — не громкий. Тихий. Хрипловатый. Как шорох колосьев под ветром.

— Где твоё поле?

Никита стоял.

Воздух — мёд. Солнце — белое. Трава под ногами — горячая. Серп — в метре от его шеи. Тупой. Щербатый.

Он думал три дня. У него не было ответа.

Где его поле?

Физика? Ведовство? Соня?

Он открыл рот.

И — сам не понял, как, — его рука сама полезла в карман. Достала тетрадь. Зелёную. Шестую. С надписью «НА ХОЗЯЙСТВЕ». С инструкциями про сметану, с белыми следами на Советской, с пятью спящими, с Агафьиной припиской, с тремя вопросительными знаками.

Он протянул её полуднице.

— Тут, — сказал Никита.

Голос был хриплый. Чужой.

— В тетради. Я — записываю. Всё. Что вижу. Что слышу. Что понимаю. И что не понимаю — тоже. — Он сглотнул. — Это — шестая. Было пять. Будут ещё. — Он смотрел на неё снизу вверх. — Я не знаю, где моё поле. Правда. Не знаю. Я — ищу. Вот — тут ищу.

Полудница смотрела на тетрадь.

Долго.

Потом протянула руку. Ту, что без серпа. Большую. Загорелую. С мозолями — Никита видел — на ладони, на пальцах, как у людей, которые всю жизнь держат серп и вяжут снопы.

Взяла тетрадь.

Открыла.

Никита не знал, умеет ли она читать. Наверное — нет. Наверное — ей не надо было уметь. Она смотрела на страницы — на его мелкий, аккуратный, почти чертёжный почерк, на столбики, на стрелки, на подчёркивания, — как смотрят на поле. На борозды. На ровные ряды.

Перевернула страницу. Ещё одну. Ещё.

Остановилась.

На странице, где было переписано из Гроссбуха: «Мальчишка Рябовых в 72-м ей сказал: "не знаю, где моё поле". Она его отпустила».

Полудница смотрела на эту строчку.

А потом — засмеялась.

Тихо. Хрипловато. Как шелестят колосья. Как будто вспомнила что-то очень давнее и очень хорошее.

Закрыла тетрадь. Протянула обратно.

Никита взял.

— Мало, — сказала полудница. Голосом-колосьями. — Тетрадь — мало. Тетрадь — это межа. Не поле. — Она выпрямилась. Во весь рост. Два с половиной метра. Серп в опущенной руке качнулся. — Ты знаешь, где межа. Не знаешь, где поле.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.